

На мой скромный взгляд, выдуманные обычаи и языки несуществующих народов мало кого интересуют сейчас, когда вокруг происходит столько всего интересного, настоящего, кипучего и порожденного самой жизнью. Подлинные экспериментаторы — Пушкин, Маяковский, Платонов — чутко слышали и слушали, отталкивались от бытования языка народного, ощущали в себе биение крови своей эпохи. А экспериментаторство келейное, литературное, чаще всего обречено на забвение — за очень малым исключением. Впрочем, может быть, этим исключением и станет проза Дениса Осокина.

Ольга Гертман

С библиотекарями следует быть осторожными

Спору нет, Денис Осокин нравился бы статистическому большинству читателей куда больше — отторгался бы общекультурным сознанием куда меньше — если бы писал только нежные, взволнованно-лирические тексты вроде, например, следующего:

«все устья рек — это свадьбы. бесконечные — лучшие на земле. в своем устье любая река превращается в невесту или в жениха. речные устья — свадьбы открытые всем. быть гостем на этих свадьбах особенно хорошо в апреле-мае. в это время поездки в устья рек могут превратиться в направленную важную деятельность. если у вас мало настроения, мало времени — попробуйте сделать над собой усилие. потому что будете правы и не пожалеете! когда реки вздуются, потом вскроются, у берегов зашелестит последний ледяной припай, а земля будет пахнуть и сохнуть — объезжайте устья! — их повсюду так много. и самые огромные — и средних и узеньких рек с ненаглядными именами...»

Где ни прерви цитату — все жалко. Или вот такое — персональная магия, глубоколичное переживание тайны мира, чудесности обыденного, обворожительной красоты будто бы некрасивого, подробное, внимательно-чувственное любование им (новый сборник, составленный из написанного автором лет за двадцать, завораживает этим точно переданным мировосприятием с первых же строк):

«25-го ноября я получил аванс за ноябрь. купил на рынке квашеной капусты — соевый соус — клюкву — две пачки зеленого чая с китайским императором в кресле — пять бутылок минеральной воды 'ветлужская' — и вступил наконец-то в свой долгожданный пост. я всегда в это время в него вступаю: радоваться и прислушиваться к декабрю — месяцу чудес — встречать и его и зиму. время с конца ноября до нового года — что-то вроде моего личного священного месяца рамазан. и ни при чем здесь пост рождественский. к декабрю я всегда стараюсь уволиться с работы — а если это невозможно — уйти в любого типа отпуск. тихо жить внутри дома — тихо гулять по улицам. в ноябре-декабре и короткие поездки до пения хороши —

были бы деньги. уехать вон в кировскую область — в лузу — пожить в гостинице дня два-три — или в марийский город звенигово вдруг приехать — или совершить паломничество в чувашскую столицу шупашкар. и в этом большом и уютном городе не жалеть что в гостинице 'мир' оказалось неожиданно дорого — с удивленным весельем поглядывать как красными лампочками мигает над улицами 'шупашкар — чебоксары' — и тепло приветствовать огромную маму на набережной — с надписью на постаменте 'благословенны дети мои живущие в мире и любви' — она глядит на темные пристани — волги скованной льдом.»

Опять-таки где ни остановись — все жалко. До пения хорошо, да. Почти пение и есть.

У него вообще много такого: трогательного, поэтического, пронзительного, совершенно единственного в своих интонациях и ракурсах взгляда. Но много и совсем, совсем другого — единственного ничуть не менее. Даже и не знаю, кто сейчас так пишет-то, кто вообще такое пишет. Откровенная (почти экстатическая. Почти навязчивая. Уж не избыточная ли?) сексуальность, которой у Осокина пронизано все, буквально все, с прямым названием всего, что в нее вовлечено, — еще ничего (она как раз понятна — как следствие витального избытка). Бывает и куда хлеще. Рискнем процитировать?

«вы пришли в библиотеку и читаете на дверях табличку 'санитарный день' — ну вы приблизились так приблизились к границе двойки! — завертитесь на месте схватившись за пуговицу, заплывите, закричите 'жопа' на разные голоса — и бегом от этой двери! если заглянуть к библиотекарям в санитарный день, наилучшее что с вами случится — это истерика, а в худшем случае — рухнете как подкошенный на пол — останетесь там навсегда. библиотекари в синих и серых халатах стоят на стремянках и мочатся — жуя мышинные хвостики. собирают тряпками свои лужи и протирают ими плафоны, дверные косяки. включают электрические чайники и плещут друг в друга кипятком. играют в жука-ползуна — это вот как: один библиотекарь ложится на пол, заталкивает в рот несколько каталожных карточек и начинает их усиленно разжевывать, все остальные разбегаются и прячутся по комнатам. как только лежащий — он и есть жук-ползун — разжеует карточки до кисло-желтой массы — начинает ползать по библиотеке, искать своих коллег и плевать в них тем что у него во рту.»

Ох, мамочки. Картина, достойная кисти Иеронимуса Босха, — чистый ад. (Да, к аду и отсылает. «Двойка» — это ведь он, антимир, брат-близнец нашего мира, постоянный его негатив, неразлучный его спутник, — о чем автор, на случай, если мы еще не догадались, говорит прямо (один из редких случаев, когда он говорит прямо): «библиотекари не пакость — а серьезные мистические фигуры — существующие на пограничье миров — там тяготеющие не к золотой желтизне но к густому фиолету вместе с проститутками манекенами и зеркалами — перемещающиеся мобильно из единицы в двойку — из мира в антимир — и наоборот».

Впрочем, строго говоря, здесь не вполне ад — немедленно возникающий в нашем (пост)христианском воображении по прочтении чего-нибудь вроде выше процитированного. У Осокина все сложнее, о чем речь впереди.

По поводу куда более невинных высказываний Осокину уже советовали никогда больше такого не писать — и тогда, значит, все будет хорошо. Однако что-то мне подсказывает, что если бы он не писал *такого* — он не был бы самим собой и тексты его лишились бы одной из своих важнейших порождающих сил — а может быть, и

просто важнейшей, — и своего основного смысла, который касается всех этих текстов вместе и каждого из них в отдельности.

Дело-то в том, что обе эти стороны его мировосприятия и мировыговаривания неотделимы, неотмыслимы друг от друга — как мир и антимир, «единица» и «двойка» (а есть, по собственным словам автора, еще и третий мир, «тройка» — создаваемый и постигаемый художественным воображением). Эти миры питаются соками друг друга. И даже попросту: они вообще одно. Просто взятое с разных сторон.

То, что и как делает Осокин, вполне осознанно определяется системой его представлений о мироустройстве — можно отважиться и на более ученое слово, поскольку тут, кажется, все тщательно продумано — его персональной онтологией. Попробуем же разобраться в том, как, по его разумению, устроен мир, как взаимодействуют между собой разные его части.

Первое, что бросается в глаза: здесь нет иерархий. Все значимо, все обращено к человеку, все волнует. Прежде всего: что угодно (в пределе — все) может оказаться, и часто оказывается, эротически значимым (хотя есть предметы, эротически заряженные особенно сильно, — таковы огородные пугала). Более того: все одушевлено, живо, не исключая и того, что мертво; мертвое даже особенно живо (даже эротизировано: покойные «барышни тополя» все сплошь таковы, и с ними возможно сексуальное общение), разве что на свой лад. Оно так живо, что не только способно испытывать боль: *«мертвые например всегда существуют с головной болью и не обращают на нее никакого внимания»*, но и — на свой опять же лад — смертно: герои «Овсянок» Аист и Мирон утонули, то есть получили мерянское бессмертие в реке, но это бессмертие, оказывается, условно — спустя тысячу лет совсем старые бессмертные растворяются в воде.

Любой предмет может стать прямым путем к сердцевине жизни — сакральным, главным: хоть велосипедные ключи (*«все без исключения радости и тайны лета — радости и тайны молодости — радости и тайны жизни — любви — можно извлечь и приблизить к себе при помощи этих инструментов. самая красивая фраза нашего мира — это: велосипедный ключ»*), хоть лодочные станции (которые, оказывается, — *«молитвенные поляны, самые главные в жизни»*).

Ужасы и погибель тоже могут скрываться где угодно и вырваться из любого источника (что и происходит, например, в тексте о библиотекарях — одном из самых невыносимых в сборнике, а то, пожалуй, и в самом). У чего угодно может оказаться злое хтоническое лицо (кто бы предположил такое, допустим, о скромных работниках библиотек), и это лицо в любой момент может к тебе обернуться. Вообще злое качества предметов и существ с их наблюдаемыми свойствами никак не связаны. Все опасности, исходящие от библиотекарей, никак не определяются тем, что они выдают книги, хотя могут использовать это занятие для своего проявления; а гибельная сущность зеркал минимальна, если есть вообще, связана с их отражающими свойствами (тем более, что зеркалами могут быть и люди — и ни об одном из них незаметно, чтобы он что-то отражал. Зато губительные свойства за некоторыми определенно замечены — как, например, за бывшей девушкой Еужена Львовского — которая на самом деле «была зеркалом»).

Что еще важно: ни библиотекари (самые, кажется, чудовищные из существ, населяющих осокинские страницы), ни зеркала (самые губительные из попадающихся тут предметов, с которыми, кстати, библиотекари образуют один, хотя и не очень устойчивый, тематический комплекс: деньги от штрафов за несвоевременно сданные книги библиотекари, предположительно, *«отдают зеркалам»*, а те в ответ *«оттягивают их головные боли»*; не говоря уж о том, что *«в угоду зеркалам они рвут ваших будущих или живых детей»*) вроде бы не желают людям зла. Они, так сказать, не злонамеренны.

Да, библиотекари «в угоду котам выворачивают руки вашим родителям, в угоду клоунам или птицам толкают вас к самоубийству», но разрушительны для человека они единственно потому, что такова их природа. А так вообще-то они людей по-своему любят и даже охотно идут за них «замуж сразу — хоть в первый час знакомства».

Несомненно в тех же библиотекарях и зеркалах одно: все это — обитатели «двойки» — антимира и пограничья между мирами. Их злокозненность связана исключительно с этим.

Всякая вещь у Осокина вообще не вполне то — а может быть, даже и вовсе не то, чем предстает глазам. Всякая готова увести вглубь — и эта глубь с высочайшей вероятностью окажется далека от того, что дружественно или благоприятно человеку. Правда, оно, при всей своей невмещаемости умом с его привычками, чаще всего человеку соразмерно и готово вступить с ним во вполне осмысленный диалог. С населяющими мир хтоническими силами, по Осокину, возможно и договориться (как, например, могла бы, да вот на свою беду не захотела договориться с явившейся ей бесспорно хтонической сущностью, Овдой, одна из героинь «Небесных жен луговых мари», Оропти), и выработать — а затем строго соблюдать — правила взаимодействия. И даже если ты в них не очень-то веришь, имеет смысл адресовать им дружественные жесты (так герои «Танго пеларгония» раскладывали в мисочки из кукольного сервиза «кашу для демонов» и расставляли ее «в оврагах и на тропинках — под вишнями — чертополохом и конечно у туалета». Кто-то ее съедал — может, ежики, а может, и вовсе нет). И даже с чудовищными библиотекарями может быть выстроена «система поведений и отношений» — хотя и «бесконечно сложная». Некоторые ее принципы у Осокина уже и сформулированы. «слишком много в общении с ними приходится маневрировать. можно знать тридцать две травы и закрыться ими — тогда библиотекари не опасны». Впрочем, предупреждает автор, «мы знаем не все». Во всяком случае, «с библиотекарями следует быть осторожными и безусловно их уважать. нельзя стремиться использовать библиотекарей в грубо корыстных целях и вообще заигрывать с ними не будучи хотя бы средней руки колдуном. излишние контакты с ними — уже заигрывание».

У осокинского мира куда больше общих черт с языческой архаикой (вполне возможно, до сих пор сохраняющей актуальность в тех областях мира, которые особенно привлекают его внимание: в угро-финском Поволжье), чем с нынешней постхристианской культурой. Христианские элементы тут изредка попадают, но встраиваются в совершенно языческую систему взаимодействий с миром, ничем не отличаясь от прочих ее элементов («вот лошадь остановилась и не идет. дядя сказал: что-то здесь не то — конь немолодой — но старая собака на лишайник не залает. снял штаны и нам велел снять. папиросу закурил и перекрестился»). Исламских элементов чуть больше, но все они, так сказать, исключительно эстетического свойства, без серьезного интереса к тому, на что эта сторона вообще-то призвана указывать, — или с какой-то другой, собственной верой: «мне так радостен месяц рамазан! так мне дорог! в нашей волго-вятской полосе он — я думаю — самый светлый. <...> в месяц рамазан шелестят взгляды — походки дружинят неторопливо: разбиты тротуары — грунтовки разжижены. в глубине спокойных лиц — улыбки-полумесяцы. и на моем лице тоже немножко похожая улыбка. или мне так кажется. благодаря тому что многие живущие рядом люди встречают свой чистый месяц который лучше тысячи остальных, думают о закованном в цепь шайтане отказываясь от питья и пищи — и наши жизни в это время года становятся значительнее и теплее».

То же касается большой истории — скажем, революции и первых лет советской власти, когда, как утверждает автор, происходит действие некоторых его текстов, например, «Ангелов и революции», датированных 1923 годом: «на момент издания книги автору текстов исполнилось 22 года. он считает себя неплохим писателем-примитивистом

и в настоящее время работает в вятской чк», — комментирует книгу не кто-нибудь, а «господь бог». Революции и иных исторических обстоятельств там немного — они только дают материал для вылепки этого мира. Но вообще-то для его вылепки годится всякий подручный материал, и историческое тут — не главное. Происходящее в 1923 году — по существу, по структуре, по типу связи между явлениями — не отличается принципиально от того, что, судя по другим «книгам» Осокина (это, собственно, и есть жанр, в котором он пишет: ни проза, ни стихи, ни повести, ни рассказы — «книги»), делается в 2000-х, в 1970-х, в 1990-х, точно так же, как происходящее в неназванном южном французском городке («Ящерицы набитые песком»), не отличается по тем же признакам от происходящего в Сыктывкаре и Уржуме: оно может происходить где и когда угодно (не для указания ли на это нужна разная датировка и локализация?).

В этом архаичном, допсихологическом мире нет — или почти нет — характеров, есть ситуации. Есть, правда, резко-индивидуальные черты — и имена, составляющие важную часть чувственного облика героев.

Языческие божества здесь редко называются по именам, хотя иногда — в исключительных случаях — под своими именами и присутствуют (так марийское божество Кугарня присматривало за старым Капитоном, когда тот отправился покупать себе новые ботинки из родного села аж в самые Морки. Покидать место своего привычного обитания здесь дело куда более чрезвычайное, сопряженное с неведомыми опасностями, чем пересекать границу между мирами). Божества как таковые вообще появляются тут настолько редко, что впору говорить о «новом язычестве» без божеств — или с божествами ситуативными, мерцающими, преходящими. Как бы необязательными.

Зато, как бы в компенсацию этому, все, что ни есть, в этом осокинском мире не просто живо — оно еще и разумно (и вообще антропоморфно с большой буквальностью: насекомые иной раз носят трусы, которые при случае и скидывают). Жива и разумна сама плоть мира. И с каждым из ее участков человек — в телесном родстве.

Более того, кажется, этот мир — доэтичный. Жизнь и смерть тут явно есть, но добра и зла как таковых нет — если только они не тождественны, соответственно, жизни и смерти. А они явно тождественны не всегда: есть и благая смерть, и добрые живые мертвецы. Есть антимир-«двойка», но нет трансценденции. Границы между мирами — скорее, между лицом и изнанкой одного и того же мира — прозрачны, проницаемы и пересекаемы постоянно в обе стороны.

А вот фиксированные значения у вещей и явлений — по крайней мере, некоторые — все-таки есть и явно образуют систему: пугала, анемоны, зеркала что в Латвии, что в Чувашии и означают, и делают одно и то же.

Теперь, когда мы видим собранными вместе столько текстов Осокина за много лет, становится особенно понятно, что они, такие вроде бы разные, неспроста — сколько бы ни датировал их автор разными датами, включая те, что предшествовали его рождению, сколько бы ни назначал им различных мест написания (от германского Заснитца и румынского Рэдэуца до Ветлуги и Кукмора) — обнаруживают столько общих черт в стилистике, поэтике, интонациях, ритмах. И уж точно неспроста у них столько общих сквозных образов (тополь как представитель загробного мира, зеркало как проводник в него, анемоны как воплощение нежности, пугала как насыщенно-эротические, не без хтоничности и ей сопутствующих разрушений, но без всякой злонамеренности персонажи...), неспроста есть у них сквозные персонажи, а у некоторых текстов — общие авторы-гетеронимы (Аист Сергеев и отец его Веса Сергеев встретятся нам не только в «Овсянках») — заставляющие вспомнить Фернанду Пессоа, но тут же и отложить это воспоминание в сторону, потому что осокинские

гетеронимы не слишком различаются между собой интонациями и позициями; и даже сквозные, особенно важные для автора имена (например, имя «Валентин», объединяющие персонажей столь разных, как *«трухляк валентинс»* и один из гетеронимов автора — Валентин Кислицын. Строго говоря, Кислицыных-гетеронимов тут два, из разных времен, — дед и внук — и оба Валентины). Ну то есть попросту, все это — части одного большого текста: не имеющего начала и конца, способного быть начатым и оборванным в любой точке времени-пространства; отчасти уже возникшего, отчасти остающегося в области возможностей. Это — разные входы в одно многообъемлющее время-пространство, в одно большое «сейчас», соразмерное, может быть, самой вечности — только живее, чувственнее, уязвимее ее.

Все вместе эти тексты — как уже написанные, так и те, которым предстоит возникнуть — образуют ткань, полную точек роста. Причем такого, который гораздо ближе к природе, чем к культуре. Он почти совпадает с природой — и, подобно ей, не мыслит считаться с культурными условностями — вполне возможно, с условностями любой культуры, но, скажем, ныне действующей русской — точно. Так не считаться с ними люди отваживаются разве что наедине с самими собой, в фантазиях, снах, бреде, когда культурный контроль сведен к минимуму. Поэтому понятно, что многое в текстах Осокина вызывает сопротивление — еще прежде, чем сообразишь, для чего он так пишет, и даже одновременно с тем, что ты это понимаешь. Понятно, что он неудобен. Это не для удобства делается.

Картина мира у Осокина, как мы имели возможность заметить, — совершенно мифологическая. Возвращение — минуя запреты и ограничения рассудка — к истокам человеческого существования: к прасуществованию и правосприятию. С этим напрямую связано и вообще настойчивое внимание к окраинным, обыкновенно скрытым от рассматривания областям жизни, к «телесному низу», и, в частности, употребление «неприличных», табуированных (в центральных, устоявшихся и затвердевших областях культуры) слов и тем, ритуальное сквернословие, сакральное похабство («задница и жопа!» — поют одни из главных сексуальных фигур осокинского мира, пугала): характер его — магический. Отсюда и постоянные апелляции к неразрывным друг с другом до близнечества — как и положено в архаике, — мощнейшим началам: сексу и смерти.

Осокин наговаривает, наборматывает мир, в котором еще не было по-настоящему ни христианства, ни ислама (да и язычество-то как следует не прояснилось), ни нас самих. Всему еще предстоит возникнуть.

Если бы было твердо известно, где, собственно, проходят границы литературы (но они, подобно границам осокинских миров, проницаемы, подвижны, теряются во мраке), можно было бы отважиться сказать, что это — не вполне литература. Написание таких текстов — вызывание мощных жизнеобразующих сил, по сути, магическая практика. Да и чтение — по крайней мере, отчасти — тоже.